

Я БУДУ ВЕТРОМ...

* * *

Ну, здравствуй, серый град, где та же
гряда барочная петровских облачков,
балетный Ленин на Московском и те
же хохмы хмурых богатеев, и та же
одурь вымокших юнцов, где ту же
слякотную жижу пустые тени вяло
месяц с бутылкою насущною в руке, и
лица те же всё свинцовой в провалах
эскалаторной реки. Ты снова по душе
и не по силам снова, бессмертник
каменный, заплаканной душе. Ну,
здравствуй и прощай: глядит в окно уже
дорога огней чужих, и тёплые ключи
сжимают пальцы в пропасти кармана.
Живи, чем жив. Слыви, чем слыл. Спасай,
чем спас. И снись. И помни прошлым
парком обо мне, когда сойдутся статуи
продрогшие молчать у бьющего пургой
в беззвёздный свод фонтана.

Х.2002. СПб.

ПАНИ МАРИЯ

Со шварками лепёшки пекла в дорогу
соседке, что их не любила за кроны лишние,
метраж и просто так, как любят не любить
другого. А ночью снова «скорую» звала для пана
своего, не старого ещё, хватавшего по-рыбы
шахтёрским лиловатым ртом какой-то свой,
увёртливый и тощий воздух и толковавшего
уж наяву с братишками своими, с четырьмя,
что мятной юности вослед давно отвековали.
Потом садилась в плюшевое кресло у мытого
окна за старое напрасное вязанье, на всякой
петельке, на каждом узелке шепча «за что?»
всё ласковой и тише.

А у реки, под мельницей,
всю ночь тяжёлый гул и веет свежею
незримою мукой у дверцы низенькой, куда
в века благочестивые чуть свет входил
палач неславший. С понурой радостью
уже снуёт восставший из сбитых ласками
хрустящих простыней умытый чешский люд

меж новым капищем, пивною и вокзалом,
где улочка последняя, У Божей Матки,
уводит тополями от тополей за снежные поля
и ангелов в пуховых рукавицах, и демонов
в железных сапогах, пока шипят на старой
сковородке со шкварками душистые лепёшки.

2004. Богемия

НУ ВОТ

Ну вот и откружили, тётя Лида, вы свой Большой, свой
чёрно-белый вальс: и брови хвостиком мышиным, и губы
в три лепестка, под Чио-Чио-сан, и Сталин на медалях
дяди Коли. Теперь не поменять мне стёртую руслановским
отчаяньем иголку, чтоб ворковал фокстрот послевоенный
трофейно-ресторанно-беломорно: *Я вас любила в тот
прощальный вечер – за вашу нежную любовь к другой.*

Что ж, офицерская жена, под «Брызги шампанского»,
«Челиту», «Мишку» и «Манон» пари в единственном
зелёном шёлковом забытом платье, мерцая белым бисером
по лифу над вихрем юбки солнце-клёш, – над светом, тьмою
окатившим, недобрый миром, пленом и войной. Всё это,
тётя Лида, понарошку, и кто-то задом наперёд подставил
нам морской бинокль: я никогда не буду маленьким, а вы
не станете большой. Скрипит паркет, как в Доме офицеров,
звонит труба соседских похорон, а в летних лагерях под
гору

с мамой

наперегонки

бежите вы,

расплёскивая вёдра,

из той страны, которой нет, в страну, которой не бывало.

2004. Париж

ВАРИАЦИИ ВРЕМЕНИ

I

Он выплывает (но откуда?), он отплывает
(но куда?) день, как отжившая жемчужина,
налитая пропавшим молоком. Под ноги
стелется его папирусная музыка, и капает
за шиворот упорно безмолвие его небес,
беззначных как загробье.

Как околевшего
галчонка, его никто не согреет в немеющих
от нежности и ужаса руках. Ни памяти
простуженной, ни вычурной надежды
в день несмыканья отлучённых дней,

рассыпанных всей пушкинской янтарною
морошкой по ноздреватому чернеющему льду.

II

Нисходит срок пустого знания: черёмух
цвет в зияющей плывёт голубизне, где
ты да я – древесное воспоминание всех
приготовленных заранее, обутых, выбритых,
отглаженных, всех напыливших и нагадивших
и, как воркуют впрок предания,
всех заблудившихся в себе.

На этот свет, на эту тьму в апреля день, по Божьим
умыслам, тридцатый, в три по
полудни явился, помнишь, я в пылящем Оренбурге
и нежно вымолвил : му-му.

Ещё поём. Уже не страшно. Не ждём и
любим. Больно и ненастно.

Нисходит срок пустого чаянья: черёмух
цвет переплывает из светотени в светотьму.

III

Ещё вчера плескался в солнце, а ныне
вздулись, помутнели волны. Ещё вчера
ты ничего не видел, а ныне сердце гулкое
расплещет всю музыку звенящую безмолвья.
Как белый червь, слепой и голый, ещё вчера
ты вождедел, сучал и ненавидел, а ныне

всё в одном, одно во всём – до самого
скончания нескончаемых начал и от начала
всех окончаний безначальных, и стелется
струистый ветерок по разлинованным листам
за всякой вящей запятой, как этот вздох и тот.
Под круглую иконой неба вечерний долгий человек.

2004. Богемия

ЧАЙ

Чай должен быть крепким и
сладким. Жизнь – ломкой
и подслеповатой. Небо
пустым и высоким. Горе
набухшим и чёрным. Сердце
пугливым и громким. Радость
солёной и краткой. Родина
детской и дальней. Вечер
последним и влажным. Песня
напрасной и пьяной. Долгой
и горной – дорога. Прошлой и

вешней – любовь. Память же
крепкой и сладкой, как наш
заутренний, душистый,
как наш с тобой горячий чай.

Х.2002. Богемия

КЕНЖЕЕВУ – ПОСЛАНИЕ ВТОРОЕ

*Среди пречудных при ясном солнце ночи
Верхи золотых зыбей пловцам сверкают в очи.
Ломоносов*

Благое время удивленья, его простыл
медвяный след, мой брат Бахыт.
Увечно солнце зимних дней, и птахи
плачут в тонких клетях, тогда как
верится – поют. Что прошло, ни за что
не настанет; что настанет, и впрямь
всё равно. И должно жить без ожиданья,
как ждали, вскользь и вкривь живя,
и доплывать по хлябям хладнодушья до
острова, где череп пропылённый наш
давно желтеет в мировой костнице
с последним именем и крестиком на лбу.
«А ведь сгниёт!» – взвивался Ваня
Бунин, хватая за руку холёную себя.

В чреде невольников того, что мнилось,
любовников того, что не сошлось,
на шатком трапе поминаний хлебнём
же шквала под ветхим небом – небом
непременным, как ты съязвил, и,
раздирая нетленные ризы, и, колыхаясь
в проявленном мире, исковеркаем
сызнава пряную душу, чтобы взяла
охота стихотворить на скользких тропах
мирозданья, где мы, прижав к плечу
котомочку пустую, бредём доверчиво,
всегда по краю, мой брат Бахыт.
Мы были завтра, помнишь? Обещаю,
мы будем. Будем и вчера.

2004. Богемия

ПОРТРЕТ В ЛАНДШАФТЕ – ВЛАДИМИРУ БЕРЯЗЕВУ (из цикла «СИБИРСКИЙ РЕЛИКВАРИЙ»)

Чем ближе от тебя, тем дальше, зимний брат, к тебе
тропа змеится над обрывом, тем шире видится
позёмкой пепельно взметающая гладь и тем,
и тем вернее клинопись звериных юрких лазов

дерзнувшего заводит вспять, к безвылазной засеке.
У Навны-узницы храним клубок оледенелый сей.

Мерцают под нелёгким веком предвечных рек-озёр
младенческие души, но ближе чем, тем ледовитей,
тем таёжней то лихо белое, лихое то сиротство,
тем ярче теплится, дрожит колючею звездой
на гулком дне, на лунном тле твой трепетный
костёр, тоскою волчьей проколовший бельма ночи.

В резной незримый реликварий легла апрельская
Сибирь. В сновиденных моих чертогах за дышащей
завесой ты в чёрном зеркале забытой анфилады
стоишь бессменно с пернатою надломленной стрелой
в роландовой груди, и кровь ветвится из ушей: ты
так трубил в ущелии своим – над тьмою сарацинов.

2004. Богемия

ОБ ЭТОМ

Очень об этом думает. И додумалась...

Из письма

Ты можешь вчуже взлетать с астральными орлами,
вцепившись в непроявленные лапы, и падать-падать,
разбиваясь в прах, ломая крестец и радужную выю,
и vareжку сухую сердца в яйце хрустальном разместить,
среди бабочек и упырей, на валком алтаре библиотек,
чтоб душными полётными ночами когорта обантованных
девиц лила над ним святую слизь, чтобы юнцы в пост-
байроновских блузах вздыхали ястребино над парусом
растерзанным твоим, пока не спросит некто деловито:
но кто же? где? когда? и как? и с кем?
и с кем? и с кем?

Ты можешь дёргаться, теряя шлёпанцы,
в елабужской петле, оставив лопнувший пирог
обуглиться в духовке, иль корчиться на окровавленном
снегу, прижав батистовый платок к своей зияющей
хрестоматийной ране; сдыхать в лесу вонючих нар от
голода, мечты, блатных плевков иль уж оставить свой
разношенный, залатанный, измызганный морщинистый
скафандр под треснувшей плитой иль стоя, как Шатобриан,
и вымывать сто лет полы, жуя амброзию, как лист алойный,
в каком-нибудь сиятельном синклите, но глянет вяло
там, в тартарах, со ртутно бегающим глазом Вя
некто и пустит длинную слюну на письма, карточки
и дневники, и третью премию, осклабясь, получит за:
но с кем же? кто? когда? и где?
и как? и как? и как?

2004. Богемия

* * *

Я буду ветром, несущим в чужедальних взорах
птицу над той чернеющей горой, пронзённой
сокровенным огоньком. Я взрею алой птицей,
несомой ветром в ту волглую лесную глубину,
напечатлённую лобзаньем холодеющим
заката. Я встану той набухшею дооблачной
горой, которой горбится осенняя душа
под сарабандой повечерних вздохов.

Я буду ветром, птицей и горой, дождём слепым,
смывающим меня, закатом, канувшим в глухую
синь, и даже – криком окон
одиноких, но только не
наскучившим себе скучающим собой
в нерукотворностях подоблачных
твоих, мой нежно
равнодушный Боже.

2003. Богемия